



Ирэна Орлова, Алёна Жукова, Бостон 2016

Письма Ирэне

Письмо первое

Однажды ты спросила: «Когда про меня напишешь?» Я отшутилась, что про тебя просто так нельзя, что это целый роман надо писать, да и мамка не позволит. В этой шутке всё правда. Завтра тебя хоронят, а меня к тебе опять не пускает мама, но уже по-другому, не так как раньше. Про раньше ты все сама знаешь, а сейчас — просто не могу уехать, даже на день, из-за ее немощи и болезней. Рассказала ей про то, что с тобой приключилось. Она не сразу поняла, про чью смерть говорю, хотя твое имя всегда было её болевой точкой, а когда вспомнила, удивилась: «Ведь молодая еще, чего удумала? Вела бы себя хорошо, так и дожила бы до моих девяноста трех. Вечно с сюрпризом твоя Ирэна...» — и просительный взгляд мутных, слезящихся глаз: «Ты ведь не поедешь? Смотри, уедешь к ней проститься, а со мной не успеешь...».

Сначала внутренний бунт, как по молодости бывало, когда она мной манипулировала, а потом поняла — не поеду и не добавлю к ее боли еще одну. Она ту, ядовитую, почти пятидесятилетней давности, носила до вчерашнего дня. Прости ее. Твои извинения не принимала, а вчера вдруг опомнилась: «Ну, пусть земля ей будет пухом. Ты ж ее так любила, может, я не права... Пусть простит». Вот теперь, когда вы обе простили, а значит простились, я могу писать о тебе и о ней — о материнском эгоизме и учительских амбициях; о глухоте взаимного непонимания и об остром, почти музыкальном слухе любящей души; о самых дорогих, бескомпромиссных и сильных.

Сколько раз в спину слышала: «Без нее никак, а без меня, значит, можно? Конечно, она всегда права, а я нет. Она тебе дороже родной матери!» Если заменить местоимение на мужской род, то это классика жанра. А в ответ — твоя жестокая присказка, справедливость которой, кстати, потом поняла, работая с учениками и сталкиваясь с их родителями: «Отобрать и усыновить! Близо не подпускать к ребенку!»

Впервые это вспомнила, когда в деревенской глуши работала в музыкальной школе и нашла там удивительно талантливую девочку-пианистку, которую родители заставляли голыми руками пропалывать грядки, запрещая надевать перчатки: «Чего еще! Чай, не барыня». На клавишах оставались следы крови, а на душе рубцы. Ты меня не собиралась отбирать и усыновлять, это получилось не по твоей воле. По моей. В тот момент, когда я встретила тебя, уже не захотела жить по законам «а что люди скажут...» и по стойке смирно во всем и всегда. Хотя, если бы не ее упрямство и бесстрашие матери-одиночки, стремящейся «вывести в люди» единственную дочь, я бы не оказалась в Питере у тебя в квартире и в учениках. Тебе было тогда немногим за тридцать, мне только исполнилось шестнадцать. Какие учитель и ученица? Подружки. Собственно, мама не подозревала, что я окажусь именно у тебя. Она, работая монтажером на Одесской киностудии, попросила питерского композитора, писавшего музыку к фильму, послушать ее дочь, которая стучит по клавишам с утра до ночи, и посоветовать, стоит ли дальше этим заниматься. Композитор послушал и вынес приговор: «Не стоит. Плохая школа, плохие данные. Все плохо...» Сказал и уехал, а я умирала от обиды. Обида переродилась в боль, боль в злость, а злость — в стремление доказать, что он ошибается. Взяла пластинку с баховским ХТК в исполнении Гилельса и стала разучивать до-минорную прелюдию и фугу, стараясь полностью скопировать манеру исполнителя, не отступая от темпа, в котором он молотил. Музыканты меня поймут. До этого максимум, что могла сыграть — это «Детский альбом» Чайковского и «На память к Элизе». Все мое обучение — это музыкальная школа при Доме офицеров. Чистая самодеятельность, зато маме и бабушке приятно — музыка «для дома, для семьи». Вернулся композитор к окончанию работы над фильмом через полгода. Я напросилась еще на одно прослушивание.

Он обалдел, глядя, как корявые пальцы в бешеном темпе перебирают клавиши. Конечно, если зажмуриться, то да, вполне...

Невероятный прогресс. Завопил, что везет меня в Ленинград, что надо готовиться к поступлению в училище, но сначала к своей жене — уникальному педагогу. Этой женой была ты. Хотя, как потом оказалось, уже на излёте, уже появилась француженка... Ха, подумаешь, француженка! С тобой ни в какое сравнение. Именно ты была в моем представлении настоящая француженка — смахивала на Эдит Пиаф, носила черную густую челку и детский размер одежды, курила трубку и говорила низким, хриловатым голосом. А что француженка? Упитанная, гладенькая, милая, с круглыми пуговичными глазами. Какой дурак композитор, подумала. Ах, как я тогда ненавидела её, а его презирала!



Ирэна Орлова-Ясногородская

Помнишь, как с порога я, растерявшись при первой встрече, вместо «Добрый день», сказала «Спокойной ночи»? Ты сразу обняла и ответила: «Конечно, дорогая, проходи. Наш человек. Чайник. Принимаю», а потом смешно бегала вокруг рояля, приседая и высматривая из-под локтя движение моих неуклюжих пальцев, удивляясь, как такими закорючками можно играть. Оставила у себя жить. Какая общага, о чем речь? Будем работать. Сели играть в четыре руки, ходить в четыре ноги по подпольным выставкам и читкам. Только потом я поняла, что нужна была тебе не меньше, чем ты мне. Слово «депрессия» еще не знала, про одиночество не задумывалась, любви к кому бы то ни было, кроме рояля, не испытывала. Многих слов тогда не знала, например, «диссидент» и «самиздат». Не слышала имен, которых лучше было не произносить вслух, но их стихи, проза, картины были тут, рядом. Клавиши «Эрики» тоже хорошее упражнение для пальцев и ума. Да, под копирочку, четыре копии... Научилась читать настоящее, понимать происходящее. Конечно, когда мама поняла что ещё, помимо музыки, усвоила дочь в «твоих университетах», то ее правильная советская закалка взбунтовалась. «Не дать испортить ребенка окончательно!» — был ее девиз. Никакого Питера, домой, в Одессу. Черт с ней, с музыкой, главное не будет рядом этих длинноволосых, расхристанных, страдающих и недовольных, читающих навзрыд антисоветчину и живущих на износ. В мамином мире все было иначе — ясно и понятно: лозунги, знамена, мир, труд, май, немножко радости от «достала по благу» и « очередь всего на час», путевка в санаторий и гордость за страну. А в твоём — все неправильно, все, не так, как пишут в газетах и говорят по телевизору. Ты чужая и уж очень много себе позволяешь. О какой свободе речь? Не дам! Но ты не бросила меня, даже тогда,

когда была вышвырнута ею из нашего дома. Я бы за тобой ушла, но духа не хватило, да и повод из-за которого весь сыр бор вышел, рассосался. В конце концов уехал в Штаты огненно-рыжий мальчик, талантливый гитарист и начинающий наркоман. Мне хотелось бежать за ним на край света, так безумно влюбилась, но мама предусмотрительно спрятала паспорт. Тебе удалось найти документы и выкрасть. Мы могли пожениться с Рыжим, если бы его отец, известный писатель, не стал передо мной на колени и не попросил отпустить сына. Ведь пришлось бы по-новой оформлять визу, опять круги ада, да могли бы просто не выпустить. Потом, много лет спустя, ты рассказала, что встретила Рыжего в Америке. Из начинающего он превратился в полного наркомана. Тогда ты призналась: «А знаешь, похоже, матушка твоя была права. Хорошо, что не пустила. А я-то, какая дура! Ты бы там с ним сдохла».

Вы обе были правы. Тогда и теперь. Не прощаюсь, не хочу...

Письмо второе

Ирэнка, дорогая, прости, что тревожу опять, но после твоего ухода много непонятного и странного происходит. Например, я слышу твой голос. Не понимаю, что говоришь, чаще просто смеешься, потом, закашлявшись, просишь воды. Я бегу на кухню и, выпивая залпом стакан, прихожу в себя, отгоняя морок. А потом опять и опять... Так сходят с ума. Ты знаешь, мое спасение всегда было «поговорить» на бумаге. Вот и сейчас решила писать тебе письма, чтобы изгнать из головы непрекращающийся диалог. Знаю, почему так происходит: мы чаще «слышались», чем виделись. Теперь вот не хватает — телефон и скайп молчат.

Саша Амчиславский приходил на твои 9 Дней. Сидели, пили горький рижский бальзам, я вспоминала о горько-сладком сумасшедшем питерском времени, как вдруг пришло в голову вынуть те карты... Помнишь? Те самые — Анны Марии Ленорман. Твои руки их тоже касались. Сейчас колода уже почти рассыпалась, картинки выцвели, да и тогда, сорок с лишним лет назад, они на ладан дышали. Тебе понравилась история с ними связанная: «Что значит, не знаешь их значения?» — спрашивала ты — «А зачем тогда привезла? Тетка твоя настаивала? Сказала, что ей уже не нужны, а тебе, значит, помогут? А что она сейчас? Умерла! Так... Ну, ты понимаешь, что это значит? Она передала тебе дар! Ничего не объяснила? А зачем? И так все понятно. Гадай, говори, что видишь!» Помню, что в тот первый вечер нашего знакомства, сидя у тебя на кухне, несла какую-то муру про много шума и потоки воды. Ночью начался потоп, нас залили соседи сверху. Зауважала. Ты сама любила баловаться гаданиями и предсказаниями — время было такое, очень для тебя тревожное и горькое время: муж уходил к другой женщине. Не просто уходил, а задумал с ней уехать из страны. Зря, что ли, француженкой оказалась... А ты так любила его, что помогала во всем, даже выхаживать заболевшую любовницу, но потом... Про скрученные жгутами колготки, которые

зaprосто выдержат вес тела, помню отлично... Мне и самой, когда приходилось терять, провожать, болеть, хоронить, тоже хотелось их потуже скрутить... Но не будем о грустном. Самое грустное уже произошло. Остается писать тебе письма и придумывать ответы самой, почти как в гадании. Мы же с тобой прекрасно понимаем, что дело не в картах, ладошках, кофейной гуще или гороскопах, дело в том, что кому-то зачем-то дается видеть на шаг вперед или на пару сантиметров глубже, слышать другие голоса, чувствовать другую температуру чужого тела и души. Ценное качество, но бесполезное. Никому не поможешь. Если получится на коротком отрезке отвлечь плохое, то в долгую, все равно наступит. Мы это знаем. Вот сейчас мучаюсь вопросом — где ты? Если ты есть в моей голове, и я тебя вижу и слышу, то почему считается, что тебя нет, что ты умерла... Даже наши карты показывают, что возле тебя Луна и Солнце, что ты в пути и мы обязательно встретимся...

Письмо третье

Привет, моя дорогая! Сегодня месяц, как без тебя. Совсем и везде...

Приходил Саша, но мы старались о тебе не говорить. Каждый из нас боялся опять выпустить наружу боль и ранить друг друга воспоминаниями. Говорили о литературе, о том, что в последнее время не пишется ни ему, ни мне. На днях получила письмо от Л., в котором все о смерти, но не твоей, о ней она не знала. Я рассказала, она огорчилась и попросила продолжать писать тебе письма. Отношение Л. к этой неизбежной части жизни похоже на те разговоры, которые мы вели с тобой про то, может ли человек осознавать собственную смерть? Знает ли он про то, что умер? Ты же знаешь, что Л. большой мастер и умница. Ее книги тебе всегда нравились, Генриху тоже. Ты говорила, что чувствуешь ее очень близкой, своей, а потом попросила вас соединить. Как развивалось ваше общение и развивалось ли, не спрашивала ни у нее, ни у тебя. Я просто знала, что у вас много общего, а главная общность — стремление прийти на помощь всегда, всем, любым способом: словом, поступком, советом, деньгами, знакомствами. Лишь бы уберечь, вылечить, утешить, ничего не жалко. Я так не умею — теряюсь, паникую... Ох, не успела тебе рассказать: знаешь, ведь Л. подарили пианино! Она всегда мечтала научиться играть. Послала ей фото с нашими «фишками» с чего правильнее начинать, но, как ты понимаешь, без «прихлопов и притопов» рядом с учеником, «без кончика пальца к носу» и всяких других штучек, почти невозможно проникнуть, подсказать, настроить... Это как физическая близость на расстоянии. Конечно — секс по телефону очень даже возможен, но не близость. Для близости нужна любовь, касание, звуки, дыхание, ритм и паузы... Я, кстати, поняла о чем говорит Л., признавшись, что ее организм взбунтовался, и на руке выскочил громадный волдырь после нескольких музыкальных уроков. Похожее происходит со мной в момент написания романа, ей же, ясное дело, легче писать, чем играть. Совсем недавно я думала про себя с точностью до наоборот,

но вдруг все стало тяжело: играю — заплетаются пальцы, пишу — путаются мысли. Почувствовала время, как нечто аморфное, растекающееся и просачивающееся в земные поры, увлекающее за собой чужие жизни. Но дело в том, что они не чужие, а часть собственной. С каждым уходом она иссыкает тоже. В молодости по капле — бабушки, дедушки, случайные и внезапные смерти знакомых и малознакомых. Теперь капли забарабанили по крышкам гробов страдавших, болевших, состарившихся — почти ровесников... За последний год утекла под землю целая река жизней, превратив мой жизненный ландшафт в пустыню, по которой тащится память, как несчастный бедуин, изнывающий от жажды и принимающий миражи за оазисы. Уже мне не поговорить с тобой, не поспорить с Шуриком, не мечтать об интервью с Кирой, не обнять Иришку, не... ни... Никогда. Вот это самое тупое и ненавистное, что никогда. Начинаю злиться, и на Л. тоже, когда она говорит, что не хотела бы стать долгожителем. Честно, думаю, что и ты, и она уже обречены на другое — на бессмертие: ты в своих учениках, она в книгах. Ну, может быть, я загнула (ты бы точно сейчас меня осадила и шлёпнула по рукам), но ничего пафосного в бессмертии не вижу. Оно естественно, как передача гена из поколения в поколение, как сохранение вида. Да, есть такой тип людей — они бессмертны уже при жизни и остаются не просто в памяти, а в нашем опыте, умениях, знаниях. Остаются с нами, а мы передаем их опыт, мысли, слова, как самое драгоценное, нашим детям и ученикам. Прости, если глупостей наговорила, просто соскучилась...